

# КНИГА I

## I

Корабль равномерными ударами весел бороздил сапфировое пенящееся море, и красный парус едва округлялся в царящей вокруг тишине, ее не нарушал никакой звук: ни призывы экипажа, ни песня гребцов на рядах скамеек под мерный такт жезла гортатора; а путешественники, облокотясь о борта судна, мечтали безмолвно.

То были: римлянин, два грека, кипрский купец, александриец, несколько итальянцев, возвращающихся из восточных портов. Хотя и утомленные долгим путешествием, остановками по берегам, ночами, протекшими под указаниями звезд, они привыкли любить это море, с которым теперь предстояло им расстаться с сожалением. И поэтому перед их глазами еще виднелись города на утесах и берегах, храмы, моря, пересеченные островами, сожженными солнцем и истерзанными бурями,— краски всех оттенков, от серебристо-белого до огненно-красного вперемесь с синим и зеленым.

Под взглядом прореты, который на носу корабля следил за горизонтом, одни матросы налегли на реи, другие натягивали парус, и корабль запрыгал по волнам к еще невидимому берегу, с прямо стоящими римскими знаменами, которые капитан-магистр приказал укрепить на палубе.

Море, бледное, зеленое, темно-синее, было испещрено стаями длиннокрылых птиц. Небо, совсем белое на горизонте и лазурное в зените, испещренное медленно плывущими облаками, раскинулось беспредельной пустотой, и морская гладь дышала печально торжественной тишиной, спокойной грустью, почти чарующей.

Коснувшись песчаного дна, корабль, высоко подняв носовую часть, остановился на миг. Тогда гортатор поднял жезл, и содрогнувшиеся на скамьях гребцы возобновили свою песню в ритме, более резком, более неровном. И весла равномерно стали подниматься и опускаться, унося корабль на вздымающейся пене меловой белизны и под резкими движениями руля в руке кормчего-губернатора — в красной войлочной шапке на голове.

Теперь путешественники беседовали медленно под очарованием путешествия и в предчувствии близости берега, возвещаемого уже совсем иной качкой, чем было в открытом море. Магистр, сидя на своем троне, подавал знаки матросам; невольники, появляясь из квадратных люков, выбрасывали на палубу товары, тюки тканей и кож, сундуки, украшенные медью и слоновой костью, круглые ящики с книгами в свитках, сильно пахнущие благовония.

С открытой головой и шеей, в шелковистой лацерне поверх короткой туники и узкой субукулы с рукавами, Атилий, стоя, смотрел на приближающуюся землю. На его пальцах были кольца с рубинами и сапфирами, сандалии из красной кожи у ступни украшались серебряными солнцами; тонкая рыжевато-белокурая борода волнисто окаймляла лицо, озаренное зеркальным светом его глаз, черно-фиолетовых, красивого разреза; и их блеск противоречил общему выражению лица — ни изнеженный, ни мужественный, скорее инертный.

Мадех направился к нему. Он был в азиатской желтой волочащейся одежде, с широкими рукавами с черными полосами, в митре на завитых кудрях, на ногах коричневые сандалии с ремнями, идущими от подошвы и обвивающими лодыжки ног, в ушах золотые кольца, а на груди, покрытой холстом с красными и желтыми полосами, амулет,— черный камень в виде конуса.

Берег, покрытый тенью деревьев, восстал в розоватом свете; целый город выступал из горла скал, с храмами, арками, желтыми домами, массой зелени, лесами пиний, взъерошенных вдаль, а на подходе к нему — рейд, наполненный судами с цветными парусами, покоящими свою тень на округлой ростре. Другие суда шли под парусами. Горожане в туниках и в белых развевающихся тогах стремились к набережным; дети бежали к воде по берегу, на котором мелкие камни светились на мягком песке, а в мощном шуме голосов и окруженные движением пыли солдаты — целая манипула — звеня мечами и прямоугольными щитами о свои кирасы и железные поножи, выходили с форуа.

Между доками голос гортатора, повеселевший, слышался вместе с песнью гребцов; на палубе, теперь совсем оживленной, отдавал приказания магистр; губернатор с кормы отвечал прорете, сидевшему на носу судна, а пассажиры готовились сходить на берег. Двое греков с роскошными черными бородами слушали рассказ кипрского купца,

изображавшего жестами свою ссору с невольником, а александриец — короткий, толстый, в полосатой коричневой одежде с калаприкой, с опущенными крыльями на голове — отвел в сторону Мадеха, почтительно, осторожно, угадывая в нем жреца Солнца.

— И ты тоже, и ты идешь в Рим, как и я, как Арист и Никодем, эти греки! Твой господин кажется печальным, тогда как мы все рады увидеть город, омываемый Тибром, но не имеющий очарования Александрии. Знаешь ли ты Александрию? Если я иду в Рим, то для того, чтобы сравнить его с моим городом, куда я вернусь скоро, потому что Рим, не правда ли, место погибельное для людей, желающих остаться благоразумными, каким должен быть я, Амон.

И так как он продолжал говорить многоречиво и даже дернул его за широкий рукав, чтоб привлечь внимание, то Мадех покачал головой и отошел от него к Атиллию; тот по-прежнему, глядя перед собой, стоял неподвижно на палубе корабля, который вели теперь на буксире два небольших судна в порт Брундизиума, еще загроможденный камнями и сгнившими судами, которые некогда велел здесь затопить цезарь. Обрисовывалась близость города: рыбаки чинили свои сети на берегу, усеянном обломками досок; в глубине открытой маленькой бухты плотники строгали мачты и доски; на высоких кормах причаленных к берегу кораблей сушились одежды, рабы с лоснящимися торсами, с напряженными мускулами наполняли камнями промежутки между двумя стенами мола, терзаемого волнами, и глыбы, падая, звенели.

Атилий и Мадех сели в барку с кормовой фигурой, придававшей ей сходство с гигантской лирой, и понеслись среди скопления кораблей. Тут были и триремы с короткими мачтами, годные для войны, с рядами ритмично движущихся весел; катафракты с палубой и афракты без палубы; только-только пришедшие купеческие суда или готовящиеся отплыть; актуарии, служившие для быстрых переходов или для открытий; фазелы, которые приходят из Кампании и имеют форму веретена; кашеры и келоксы, совсем круглые гаулы, курбиты в форме корзин, гиппагоги для перевозки лошадей; наконец, неутомимые либурны, которые встречались всюду и победно поднимали свои паруса во всех портах Римской империи.

К лодкам путешественников стали примыкать другие лодки: продавцы тканей и фруктов, кричащие о своих товарах, посланцы от гостиниц, почти все греки, хозяйки проституток, с ужасно накрашенной

старой кожей, приглашающие остановиться в лупанарах Брундизиума.

Атиллий оставался безмолвным. Но Мадеху, на миг ожившему, грезился его родной сирийский городок, откуда увлек его римский легион, покаравший восстание азиатов и разлучивший его с другом, незабвенный облик и имя которого исчезли от него, быть может, навсегда... Потом легион отдал его богатой семье Атиллиев; один из их предков был префектом Рима, и они, разделяя судьбу Мезы, бабки Элагабала, сделались совсем азиатами... Сестра Атиллия, которой он тоже прислуживал и маленькие жестокие руки которой часто причиняли ему боль, эта сестра была теперь при Сэмиас, матери юного и чарующего императора, уже посвященного Солнцу. Весь Эмесс видел его в длинной и сверкающей одежде жреца из пурпура златотканого, в тиаре и драгоценных геммах! Он, Элагабал, сын Сэмиас, поклонялся Солнцу, как символу жизни, все наполняющей, все одушевляющей и скрывшей свою силу в Черном Камне, силу мужского начала; и Мадех так же, как и многие другие, принес жертву богу, отдав себя Атиллию, потому что мужская любовь, в религиозном значении, была его посвящением сирийскому культу.

С нежностью Мадех смотрел на Атиллия, давшего ему свободу, и эти летучие воспоминания не вызвали в нем и тени сладострастного чувства. Он думал о том, что юный Элагабал шел в Рим после победы в Эмессе, вместе с Сэмиас и Мезой, со свитой жрецов и загадочными магами, с целой армией детей Востока и римских семей, присоединившихся к его делу, и что ему, Мадеху, предстоит необычная жизнь вместе с Атиллием, которого новый император послал к сенату известить о его восшествии на престол. Насколько отраднее было бы небо Эмесса и дворец его господина, выходящий на аллею кактусов, с садами на террасах из красной земли, наполненных цветами, громадными, как луны, лотосами, розами, лилиями! Ленивый телом, но гибкий умом, он был склонен к грезам, как все люди Востока. И потому деятельность Рима его пугала, и он инстинктивно предпочел бы жизнь *там*, с тихими наслаждениями и покоем, с жертвоприношениями Солнцу, сирийскому богу в образе Черного Камня, финикийскому богу Хел, критскому богу Алелиос, гальскому — Белен, ассирийскому — Бел, греческому — Гелиос и римскому богу Соль, которого империя отныне будет чтить под именем Элагабала...

Город, к которому они подошли, своими узкими улицами и домами

из красного и желтого кирпича напоминал сеть, испещренную квадратами форумов и садов, дворцов с колоннадами, арками, бронзовые барельефы которых сияли на ярком солнце, термами с портиками, храмами, двумя казармами с трофеями на красных и желтых пилястрах, гостиницами и лавками утвари, тканей и припасов, необычайно оживленными издали. Город кишел деловыми италийцами, — иные из них взвешивали в горсти руки образцы зерна; моряками, с песнями выходившими из термopol, харчевен, где они пили подогретые напитки; патрициями, направлявшимися в бани в сопровождении шумной свиты паразитов. Богатые матроны пряли, лежа в закрытых носилках, оконца из слюды которых ярко блестели; вольноотпущенники проталкивались среди рабов, перед которыми они были горды, и среди медленно гуляющих граждан, перед которыми они оставались смиренными; купцы громко разговаривали; среди белых тог и полосатых туник с бахромой или с пурпурной каймой жрецы своей длинной одеждой, фиолетовой, желтой или красной подметали тротуары, вышиною в фут; мерно покачивали своими грудями проститутки с набеленной шеей, ярко окрашенными губами и бровями, соединенными в одну линию антимином; и дети, голые от бедер до ступни, в одной только куртке, изодранной на плечах, на груди и на животе, бегали и подставляли ножку иностранцам в деревянных, очень высоких сандалиях, обращавших на себя внимание колыханием их открытых округленных частей тела.

Атилий и Мадех прошли через перекресток, вымощенный острыми камнями и покрытый корками лимонов и дынь, мясистыми ломтями тыкв рядом с валявшимися тут же алыми стручками перца. Вокруг открыты были лавки, украшенные мозаиками и фресками, с именами владельцев, выписанными большими красными буквами над сводом двери. Из булочной шел дым от горячего очага; два осла вертели жернова, и движение их кругов проходило перед глазами, чередуясь с печальными фигурами животных, их прямыми ушами над глупыми мордами. В красильной работницы мяти ногами ткани в чане и чесали сукно для плащей, а хозяин нагружал на человека, мокрого от пота, корзину, из которой текла краска. В стороне, в полусвете мастерской, выступали формы нагих тел, расположенные на полках и привязанные веревками к стене, — ваятель размещал идолов, маски из обожженной глины и бюсты с застывшей судорогой на лице. На углу перекрестка

учитель школы, бедно одетый в шерстяную тунику с заплатами, писал мелом на короткой аспидной доске, посреди кучки учеников, запинаящихся в варварской латыни. В это время подошла женщина с хнычущим ребенком; она поручила его педагогу, почтенный взор которого остановился на миг на ученике, и бросила ему несколько мелких монет, тотчас же опущенных им в пояс туники, вздувшейся в этом месте над худобой его живота, по-видимому, пустого.

## II

Именитый гражданин Брундизиума ожидал Мадеха и Атиллия к себе в дом, обширный, греческого стиля, стоящий близ стен и на некотором возвышении над городом; туда они взошли по ступеням лестницы, охраняемой двумя грубыми каменными львами с гривами в завитках, как у вавилонских львов. Волоча за собой цепь, приковывавшую его к его жилищу, выходящему в сени, привратник позвал номенклатора, а тот доложил Туберо. Почтенный гражданин крепко поцеловал губы и руки Атиллия и извинился, что принимает его в домашней одежде для отдыха: в свободной и длинной тунике и в плоских сандалиях. Время было уже за полдень, и гнетущая, как свинец, жара царила, погружая дом в тяжелую сонливость.

— Ты не уедешь завтра в Рим,— сказал Туберо, провожая через немые комнаты дома Атиллия и Мадеха к баням в глубине сада, наполненного зелеными и рыжими растениями, деревцами и густыми кущами, пересеченными солнечными тропинками; оттуда послышался крик. Подвешенный к ветви дерева с привязанным к ногам железным грузом невольник подвергался бичеванию веревками с острыми крючками на концах. Спина его покрылась пятнами точно мрамор; бедра покраснели от крови, которая струилась по земле; он закрыл глаза и перестал кричать, потому что первый крик стоил ему слишком многих ударов; он кусал себе нижнюю губу, страшный, со слюной во рту; а рабы, сидя вокруг на корточках, дико смеялись.

Но Туберо увлекал дальше своих гостей, показывая им свои владения с самодовольством выскочки; и не вполне очнувшись от своей сиесты, отирал пот на лбу краем своей ярко-красной длинной одежды, едва касавшейся жирных складок кожи на ногах, волочивших желтые сандалии по песку аллеи.

В саду, с розовыми лаврами и рожковыми деревьями, были тенистые уголки, осененные листвой, сочившейся в летней жаре; неподвижные массы буксов и розмаринов, подстриженных в виде урн, пирамид, больших латинских букв, египетских домиков и канделябр чередовались вдоль дорожек, пересеченных ручейками в низких берегах. Было там необычайное множество мраморных и бронзовых статуй, почти соприкасающихся локтями в сравнительно узком

пространстве: гладиаторы, ораторы в тогах, увенчанный лаврами император, полногрудая Венера; затем бюсты на подставках; несколько киосков возле бьющих фонтанов, изливавшихся терракотовыми утками, застывшими в вазах; наконец, трельяжи и беседки из разметавшейся зелени, с каменными скамьями, под солнцем, сжигавшим густую траву газонов.

В просветах между деревьями и кустами виднелся ближний берег с городскими строениями — виллами с белыми и розовыми террасами, принадлежащими богатым гражданам, за ними прямые полосы дорог, по которым тянулись нагруженные повозки, запряженные быками, а дальше — клочки синего моря и на нем ростры одномачтовых судов с равномерным движением их коротких весел снизу вверх и сверху вниз.

Рабы раздели Атиллия и Мадеха в кальдарии и облили их водой, выделявшей голубоватый щелочной осадок, который омыл неясные очертания мозаики пола. Фригадарий привлекал их к себе своим бассейном, и они погрузились в него. В лепидарии их натерли скребками и горячими полотенцами после того, как умастили маслами и мазями, очистили ногти и вылили на их руки и ноги целые фиалы благовоний, а волосы натерли сирийской эссенцией. Затем на них надели синтесис, мягкие белые туники без рукавов, предназначавшиеся для иностранцев.

Именитый хозяин, расставшийся с ними на время их купания, вернулся вместе с двумя гражданами Брундизиума, и номенклатор поспешил возвестить:

— Эльва и Мамер желают приветствовать чужестранцев, твоих гостей.

Он обращался к Туберо, который посмотрел на Атиллия и равнодушно сказал:

— Это мои клиенты; я приказал их позвать к ужину, которому скоро наступит время.

Эльва был очень высок, с костистым лицом, остриженной коротко головой, отвисшей нижней губой и маленькими глазами под веками в складках, как у жабы. Мамер толстый, бородатый, с животной ленивой тучностью, с покачивающейся головой и массивными плечами, походил на слюнявого гиппопотама.

Они медленно последовали за Туберо и его гостями в атрий, где их ожидала жена хозяина со своими невольницами — гречанками и



африканками. Атрий был вымощен красным мрамором, его бассейн, устроенный под квадратным отверстием потолка, освещался солнечным лучом, который скользил внизу по зеленому гранитному плинтусу стены, разделенной пилястрами. Шерстяные занавеси с изображением химер, варварской окраски, затканые фиолетовыми полосами, закрывали входы в соседние комнаты — кубикулы, обрамленные стенными фресками: ландшафтами, морскими видами, танцовщицами, порхавшими среди колонн, и амурами, державшими за узду коней, уносящихся вдаль.

Жена именитого хозяина, Юлия, встала, и ее тень заколыхалась на колеблющейся воде бассейна; на поверхность всплыли две миноги, глаза которых, полные как бы жажды человеческого тела, остановились на Мадехе и на его амулете, блестевшем на солнце. Потом, поклонившись, она со своими женщинами ушла в шелесте широких одежд и звенящих украшений.

Брундизийцы — и Туберо с ними — очень громко стали говорить о событиях, волновавших империю, о смерти Макрина и его сына Диадумена Увенчанного, прозванного так по сплетению жил на его лбу в виде короны; и об Антонине Авите, сыне Сэмиас и, может быть, незаконном сыне Каракаллы, названном Элагабалом, потому что он был жрецом Солнца. Один из граждан растерянно качал головой:

— Боги Италии исчезнут ради Черного Камня, которому поклоняется Антонин; он и нас заставит поклоняться этому богу в своем лице.

И с важностью они ожидали, что скажет Атиллий, приехавший с Востока, посланец Элагабала. Атиллий, не колеблясь, стал защищать Черный Камень, означавший жизнь и ее начало. Что такое жизнь? Она исходит от Солнца, все оплодотворяющего, поднимающего рост семян и распространяющего их через атмосферу, изображаемого в своей силе органом размножения, фаллосом; и иначе быть не может. Могут ли сравняться с ним другие боги, греческие, римские, египетские и персидские: Митра или Хронос, Сирапис или Агура-Мазда, Мирионима Изида и Зевс роганосящий? Не потому, чтоб он отвергал этих богов, но как они ничтожны перед Черным Камнем, Черным Конусом в форме мужского органа, изображающим всецело жизнь! Ныне империя нашла определенную форму символа единой жизни и завоевала себе высшее божество в образе Черного Камня Эмесса, и почему не покинуть

переходные формы других богов, менее ясно выражавших эту идею?

Все, что он говорил, казалось бундизийцам так темно, что они покачивали головами, угадывая богохульство, но не улавливая, в чем оно выражалось.

— Что такое единая жизнь? — продолжал Атиллий.— В самом начале жизнь единополоая совершала зачатие и рождала сама собой; мир был бессилён испытать счастье со времени разделения полов; поэтому совершенство состояло в слиянии рождающих сил в единство. В этом истинное значение символа Черного Камня, и поклонение ему Антонин Элагабал, пятнадцатилетний император, хочет установить в Риме, куда он стремится под солнцем дней и звездами ночей!

В ответ на его утверждение один из двух граждан, кривой, глядя на него единственным глазом, почти круглым, качая склоненной головой, сказал:

— Ах, чувствую я, убьёт нас всех этот император со своим Востоком и со своим богом, который есть только камень; со своим культом, который хочет нас возвратить в единство. Но это его единство, оно также и твоё,— нет, никогда Рим не примет его добровольно! Он убьёт Рим, твой император! Он убьёт нас всех своим культом, который отнимет жизнь ради поклонения жизни!

В словах Аспренаса, этого бундизийца, была такая отчаянная ненависть к Востоку и противоестественным извращениям, которые виделись в единстве Черного Камня сквозь таинственные слова Атиллия, что другой гражданин, человек благоразумно умеренный, заговорил, придерживая на животе ровные складки тоги:

— Ты думаешь, Рим примет восшествие Антонина и допустит к себе его толпы людей Востока, желающих подчинить себе Запад? Конечно, нет!

— Рим примет всё,— ответил Атиллий.— Восток станет выше Запада, Черный Камень победит всё, и от его победы родится андрогин!..

Он произнес это мечтательно, едва отрешаясь от своих отвлеченностей, опустив одну руку, а другой держа складку своего синтесиса и бросив на молчавшего Мадеха глубокий, но быстрый взгляд, странно нежный.

Уже темнота наступила в доме Губеро; он обернулся, презрительно, к Эльве и Мамеру, замыкавшим собой группу гостей:

— Послушай, Эльва, ты, умеющий пить горячую воду, как вино, и ты, Мамер, прыгающий подобно слону, двигайтесь к триклинию. Кто из вас съест и выпьет больше?

Мамер подпрыгнул на одной ноге, держась за другую своей жирной рукой, быстро повернулся и побежал с каким-то кудахтаньем к столовой, а Эльва, следуя за ним, улыбался своим гнусным лицом.

Невольники ставили на стол металлическую посуду с выпуклыми украшениями, с львиными пастями на ножках, зияющими посреди триклиния; сложенное из камня ложе в виде подковы, примыкавшее к столу, было покрыто пышными подушками. Другие рабы осветили залу четырьмя канделябрами с несколькими лампами, укрепленными вершиной своей оси на треножнике, и бронзовой люстрой, подвешенной к потолку.

Юлия возлегла на ложе; легкая цикла из тонкой ткани, широкая и длинная, едва скрывала ее тело; грудь была открыта; волосы причесаны в форме груши, на шее бирюза, золотой браслет без цепочки на левой руке. Ей едва было тридцать лет; крепко сложенная брюнетка с подрисованными ресницами и накрашенными губами, придававшими ее лицу наглый вид. Туберо развалился справа от нее, Атилий и рядом с ним Мадер — слева, Потит и Аспренас на другом конце триклиниума; Эльва и Мамер на скамьях.

Облокотясь левой рукой на подушки, свободную руку они протягивали к столу, на который рабы поставили серебряное круглое блюдо. Вино было подано в амфоре с двумя ручками; его пили из высоких чаш на ножках или из хрустальных диатрет, с узором по кругу из драгоценных камней: редкость в Брундизиуме. Чтоб лучше высказать свою важность и пренебрежение, Туберо велел подать Мамеру большую чашу горячей воды, которую тот выпил залпом с большим удовольствием.

Они ели устрицы, печеные яйца, оливки, бобы, грибы, колбасы и рыбу, подававшуюся на различных блюдах, а паразиты, получавшие подачку, смотрели глазами, в которых хотели выразить восхищение.

Среди ужина Юлия переложила ногу, обнажив ступню, обутую в белую сандалию с загнутым носком, и при этом движении сквозь разрез ее циклы была видна верхняя часть бедра, оттененного розоватым очертанием тела.

Рабы принесли на длинном агатовом блюде жареного павлина, и

Туберо воскликнул:

— Рим мог бы мне в этом позавидовать! Ни у кого не найдется ничего подобного!

Держа нож с ручкой из слоновой кости, приплясывая и изгибая стан медленно приближался структор; придерживая одной рукой свой шерстяной амикт, он, покачиваясь, другой рукой резал птицу и быстро подвигал куски на край блюда; Аспренас и Потит скромно рукоплескали его искусству.

Пили разное вино: кекубское, фалернское, каленское, фармийское, наливая его в кратеры. По временам Туберо, под видом воздаяния богам, проливал несколько капель на стол, который тотчас же отирали губкой.

Послышались звуки кротал и кимвалов, щипки струн египетских тамбурахов и греческих лир, трепетание цистр и воркование флейт. И появились женщины в развевающихся одеждах — они стали ожидать знака. Это было во время третьей части ужина, когда подавались плоды, печенья и иноземные вина; их пили из чаш с двумя ручками, опущенных в большие бронзовые кратеры с эмалью. Для лучшего пищеварения ужинавшие повернулись друг к другу спиной, вытянув ноги: Туберо громко рыгал, Аспренас и Потит тупо смотрели, Юлия все больше открывала верхнюю часть бедра, бросая взгляды на Атиллия, тихо разговаривавшего с Мадехом. Паразиты поедали кушанья, оставленные всеми, и в зале струился дым от ламп, начинавших чадить.

После медленной прелюдии женщины обошли вокруг триклиния, изворачиваясь бедрами, вытягивая ноги, как будто становясь от этого более высокими. Потом одни из них продолжили играть, причем все ту же мелодию, а другие начали танцевать, сближаясь и развевая тонкие одежды, поднимая их до головы, открываясь от шеи до бедер. И, полуобнаженные, они кружились в сладострастном вихре под звуки кротал и кимвал, под крики флейт, смех цистр, звон тамбурахов и лир. Затем они удалились неровными шагами, сопровождаемые финальными звуками, среди которых флейта выражала остроту жгучего наслаждения; а за ними последовали Эльва и Мамер, которых выгнал толчками ноги Туберо, точно опьяневший, и они побежали через темные коридоры и атрий в сени, при громком смехе Юлии и тупом самодовольстве Потита и Аспренаса; последний смотрел на эту сцену своим единственным круглым глазом, печальным и тревожным.

Туберо велел поставить для Мадеха и Атиллия бронзовое ложе в одной из комнат, которую он им показал, отодвинув край занавески. А затем он пошел вслед за Юлией, которую окружили женщины с ее ночными одеждами в руках. Аспренас и Потит направились домой в сопровождении рабов с фонарями. Дом погрузился в ночное спокойствие, едва нарушавшееся звуками лиры, которую одна из музыкантш настраивала в глубине кубикул, стенаниями подвергнутого бичеванию раба, доносившимися извне, стуком ключей, запиравших тяжелые двери в глубоких нишах.

### III

Душное утро при восхитительно ясном небе поднималось над Брундизиумом, окутывая его волнующимся туманом, который едва рассеивался под лучами восходящего солнца. У дверей дома Туберо ожидал цизий, двухместная повозка на двух колесах, запряженная мулами, которые помчали Атиллия и Мадеха на окраину города, а затем на Аппиеву дорогу, ведущую сюда из Рима. На туманящихся полях шумно двигались быки, запряженные в громоздкие плуги, и раздавались крики рабов, которые выглядывали из-за кустов, чтобы посмотреть на проезжающих. Изредка погонщик, апулиец, спрыгивал с мула и бежал рядом с колесами, осыпая своих животных ударами бича, и его ярко-красная одежда резко отличалась от темной шерсти животных.

В таверне у дороги, где они остановились в полдень, люди ели, сидя на скамейках; солдат вертел в руках каску, а в углу бродячий цирюльник брил путешественника, который быстро подносил руку к подбородку, наверное, порезанному бритвой. Все обернулись, чтобы лучше разглядеть Атиллия, но в особенности Мадеха; его митра, развевающаяся одежда в цветных полосах с широкими рукавами и конусообразный амулет вызвали перешептывание многих, и их губы открывали ряды гнилых зубов.

Оба грека и александриец, с которыми они расстались накануне, ели вместе за низким столом; черные бороды двух первых были против круглого лица александрийца, слушавшего их с восторгом. Угадав простака в наивном, хотя и осторожном Амоне, греки с красноречием, свойственным их нации, издеваясь над ним, осыпали его рассказами, тут же ими придуманными. И бороды их самодовольно чернели, когда они уверяли:

— В Риме есть женщины с шелковыми и золотыми волосами, растущими естественно благодаря одному божественному камню, который они глотают во время своих месячных. Их стригут, но они продолжают расти. Срезанные волосы сажают в порошок из золота и оникса. И тогда родится цветок, который и есть божественный камень. Таким образом все связано между собой. Так хочет великий Зевс! — Аристэс хитро мигнул Никодему, который в свою очередь изощрялся:

— Что ты рассказываешь! А вот я видел,— обычное дело! — как

Тибр породил в полнолуние слонов, зеленых, как тисовое дерево!

Ни тот, ни другой не были в Риме.

После легкой еды Атиллий и Мадех уехали вместе с Амоном и обоими греками; Амон в двухколесном карпенте, нагруженном огромным деревянным сундуком, а двое других в бастерне, повозке в виде носилок, запряженной мулами со звонкой упряжью. Они проехали несколько белых городов с низкими домами, с виноградниками на крышах; потом несколько поместий, где обнаженные до пояса рабы со скованными цепью ногами рыли каналы или били деревья жердями, отрясая фрукты. Послышалось пение. Это шли быстрым шагом солдаты с дротиками, пиками и щитами; впереди на лошади центурион. Толпы бедных людей: корзинщиков, сапожников, кузнецов, целые семьи эфиопских плясунов и укротителей змей везли на повозках с кожаным верхом и колесами без спиц все свое имущество, своих жен и детей с татуировкой на лбу. Иногда матери шли пешком, согнувшись под тяжестью детей, которых несли на спине в мешках из грубой шерсти, и оттуда виднелись только смеющиеся лица и маленькие подвижные руки.

После Капуи начались равнины, пересеченные каналами, орошавшими земельные участки. Пастухи Кампании, едва прикрытые кожаной одеждой, пасли стада серых овец, тянулись пастбища с оградами из укропа, богатые фермы италиков со множеством слуг и животных. Изредка, с любопытством дикарей, приподымались кочевники, отдохавшие на обочинах дороги, и пальцами указывали на путешественников.

Дорогу, мощенную плитами из лавы, бороздило множество повозок: цизии, бастерны, рэды, карпенты, эсседы, сарраки, закрытые и открытые носилки всякого рода. Чтобы укрыться от солнца, путешественники располагались под акведуками или на склонах рвов, покрытых опаленной зноем травой. Вся эта толпа приходила в шумное движение, когда из соседних лесов, оживленных храмами, появлялись жрецы доброй богини и плясали, точно белые и красные видения. День наполнялся звоном цистр и тамбураков, воплями священного беснования — потом эти звуки угасли, как бы растворяясь в тишине.

Ожидаемый вскоре приезд Антонина Элагабала вызывал общие разговоры, в особенности близ Рима. Люди Востока не скрывали своей радости. Их было много, они ехали из всех краев Африки и Азии,— из

Мавритании, Либии, Египта, Малой Азии, Персии, Вавилонии, Мидии, с разными пожитками на всевозможных повозках. Жители Запада: кельты, старые италики, иберы, лигуры, даки, любящие только идеальных богов, отвлеченные принципы и первозданную силу, с огорчением видели, что им противопоставляют богов сладострастия, смешивают оба пола и воздвигают не женщину-производительницу, с чем бы их углубленная в себя душа еще могла бы согласиться, но обожествление начала жизни под видом материализованного фаллоса. Эти заблуждения были им непонятны, так как в их глазах женщина есть существо отдающееся и таинственно чистое в акте зачатия, слишком священном и потому всегда сокровенном.

В часы временных остановок, объединявших всех путешественников, завязывались горячие споры. Оба грека, скептики и ироники, смеялись, а египтянин давал простор своему красноречию. Он открывал нежные стороны своей души; его круглое лицо расцветало при воспоминаниях о родной стране, об упорно живущих легендах, восстающих против пороков, которые можно предвидеть в учении о жизненном начале, об идиллической любви на берегу Нила, под взорами священного Ибиса, при звуках флейт и изогнутых тамбурахов, о любви к молодым египтянкам в легких одеждах, приходящим за водой с амфорой из красной глины.

Восставали не только против Черного Камня, бога Элагабала, кого так горячо защищал в Брундизиуме Атилий перед друзьями Туберо, но также и против Крейстоса, Бога христиан. Евреи, и между ними один высокий и высохший, как мумия, человек, по имени Иефуннэ, направлявшийся в Рим вместе с семьей, старался возложить на него ответственность за гибель его народа. Почему Крейстос допустил все народы к общению вместо того, чтобы призвать только их, добрых евреев? Если бы он это сделал, они бы не стали мучить его! Амон, беседовавший с Иефуннэ, качал головой, так как, напротив, космополитизм Крейстоса был ему по душе.

Этот Иефуннэ, отец многих детей, и между прочим, тонкой, бледной девушки с глазами серны, окаймленными черными кругами, этот Иефуннэ заставил египтянина разговориться и узнал, зачем тот направляется в Рим. Еще цветущий в свои пятьдесят лет, Амон нажил состояние, торгуя египетской чечевицей, и его горячей мечтой было посмотреть столицу мира, а затем, удовлетворив все свои желания и



вернувшись в Александрию, жениться на молодой египтянке, которая любила бы его. И так как на его круглом бритом лице отражалась мечта о молодой супруге, которой лишила его трудовая юность, проведенная в закупке чечевицы и отправке ее на барках во все концы света, то дочь еврея Иефунна бросала на Амона долгие взгляды и даже раз, вечером, взяла его за руку, свесившуюся из повозки, в то время как Иефуннэ, казалось, не замечавший этого, рассматривал арку египтянина, деревянный ящик, быть может, заключавший бесчисленное множество золотых солидов, нажитых пятидесятилетним путешественником.

Атиллий и Мадех достигли Анксур: их взорам открылась сверкающая цепь белых скал над портом; толпа носильщиков, выгружавших глиняную посуду и металлы; множество быстроходных либурн и кораблей с рострами и без ростр, весельных или парусных; иностранцы, прибывшие с юга Италии, из Сардинии или Испании, чтоб присутствовать в Риме при въезде Элагабала. Об этом все говорили, и звуки голосов, варварские звуки, долетали до Атиллия, принявшего важный вид, и до Мадеха, который смотрел на него, склонив смуглое надушенное амброй тело и овальное лицо с короткими вьющимися волосами, миндалевидными глазами и соединенными черной чертой бровями. Мысль Атиллия, прежде инертная, работала теперь под наплывом внезапного вдохновения, вызванного оживлением на Аппиевой дороге, по которой стремился народ Римской империи. Безумный проект культа Черного Камня Элагабала, который увлек его величием своего замысла, уже рисовал перед ним очертания храмов Солнца, более высоких, чем храмы Зевса и Сераписа и стены Вавилона, и этот Черный Камень должен возвышаться непоколебимо, украшенный алмазами, изумрудами и топазами, при звуках флейт, азор, нэбэл, арф, среди плясок и пения. Ради него он, Атиллий, вступит в борьбу с богами всех концов земли, и неустанным стремлением мужского пола к мужскому он упразднит женский пол или, вернее, двуполость человечества и поможет созданию в недрах творения андрогина, самодовлеющего существа, совмещающего в себе оба пола, и установит единство жизни там, где царила двойственность.

Но, подобно нежному растению, этот проект в своей сути был чем-то глубоко интимным, поэтому тревожил обычно спокойное состояние духа Атиллия, привыкшего там, дома, пребывать в сладком оцепенении и отдаваться грезам, близким к неземным. Он выработал в себе в Эмессе

философию бессознательного, которая была связана со страстной жестокостью по отношению к Мадеху; в нем он думал найти воображаемого андрогина. Глубокий эгоизм Атиллия поддерживал в нем душевное равновесие, которое теперь рисковало быть нарушенным в начинающейся по его внушению жестокой борьбе Элагабала против других верований. Он чувствовал: в самом сердце Рима могуче разрастается упорное безумие религиозных пристрастий, и сам он, пропитанный этим ядом, будет не в силах вырваться из его плена. Во что тогда обратится нить глубоких страстных дней, протекших в тишине вместе с Мадехом, которого он сделал бесполом, почти до конца истощенным, но не ведающим о своей физической слабости.

Вечер объял дорогу, и близость ночи смущала чувства запоздалых путников. Дома Анксуара, оставшиеся позади за прямыми стенами, сливались в общую массу, как куски горной смолы; порт сверкал желтыми отблесками, в которых плясали лунные лучи. Все угасало, и в общем угасании едва различались крики погонщиков ослов, стук копыт мулов, фыркание быков, выходящих из Понтинских болот, и голоса путешественников, отыскивающих убежище в небольшом городе.

Утро коснулось неба, покрытого тяжелыми тучами; их разрывали красные лучи тусклого солнца. Аппиева дорога пересекала Понтинские болота; налево — зелень дюн, направо — голубая стена Апеннин Лациума. Воды сверкали среди зарослей тростников и асфоделей, в которых топтались быки; густая трава колыхалась под внезапными порывами ветра. Восходящее солнце бросало косые отблески на волнистую поверхность каналов; над хижинами угольщиков поднимались колонны дыма; храмы из трювертинского мрамора вырезались своими розовыми линиями на фоне холмов, на их вершинах виднелись обнаженные торсы вольских пастухов; с недалекого моря доносились отрывистые звуки, сливавшиеся с криками возниц на дороге.

По мере приближения к Риму увеличивался наплыв путешественников. Лектики провинциалов; бастерны женщин; запряженные быками бесколесные траги, похожие на сани; бенны, гальские повозки с ивовым кузовом, иногда украшенные серебряными бляхами; телеги, запряженные парой, тройкой и четверкой лошадей; простые повозки, нагруженные кладью, везли людей Востока и Запада, римских граждан и нумидийских землевладельцев, семьи фигляров,

евреев, чиновников, которых привлекал приезд Антонина Элагабала. Толпы невольников, взятых в каких-то неведомых войнах, шли быстро, подгоняемые палкой надсмотрщика; собаки лаяли на темнокожих мавританцев, гнавших перед собой верблюда, который сгибался под тяжестью сидящих на нем женщин и детей.

Прошел день, и они уже ехали вдоль берегов озер Неми и Альбы, осененных тенью каштанов, выросших на земле, образовавшейся из пепла и пуццолан. Наконец, впервые серые очертания Рима обрисовались на горизонте! Дорога потянулась среди гробниц гордой архитектуры, источенных солнцем и белых на синем фоне окрестностей, среди гробниц, на которых были имена Септимия Севера, Геты, Галлена, Сенеки и Цецилии Метеллы. Вилла Коммода, скончавшегося менее чем четверть века тому назад, привлекла к себе Амона, которому захотелось обойти ее вокруг; а за ним пошла и Иефунна, тревожно следившая за каждым движением его диплойса. Но Никодему вздумалось позабавиться, и он крикнул Амону из глубины своей бастерны, откуда виднелся только клочок его черной, как уголь, бороды:

— Не ходи туда, не ходи! Тень Коммода преследует египтян, которых он не любил при жизни.

Амон, одновременно болтливый, наивный и трусливый, немедленно вернулся. Иефунна тотчас же пошла опять за отцом, глаза которого на миг блеснули при взгляде на сундук, оставленный в повозке александрийца.

Вдали пенился Тибр, то скрываясь, то вновь появляясь в дрожащем сиянии. Сливаясь, синели горы, и резко выделялись дороги, фермы и виллы, мосты, группы сосен и кипарисов.

Одно и то же восклицание вырвалось из всех грудей, взволнованных близостью столицы:

— Рим!

Белое видение все росло и росло в дымчатом тумане. И это, действительно, был громадный, дивный Город!

Тогда поднялись крики. В особенности волновались иностранцы, заветной мечтой которых было увидеть Рим. Они вставали в своих повозках, приподымались в седле, взбегали на возвышения, чтобы лучше видеть город, крыши, дома, арки, портики, колонны, цирки, горреи, нимфеи которого сверкали розовыми и желтыми отблесками.

Африканские фигляры поочередно брали друг друга на плечи, и даже маленький мавританский караван со своим верблюдом не отставал от других. Слышались переливы инструментов. Каждую, вновь увиденную часть Рима приветствовали на всех языках, и все сердца бились при виде города, который скоро поглотит эту толпу, пришедшую со всех концов мира. Атилий и Мадех не говорили, не улыбались. Атилию сквозь Рим виделся Эмесс. Мадех же под влиянием внезапного беспричинного и острого предчувствия положил руку на свой черный амулет, как бы боясь, что его отнимут.

## IV

В предместье, на правой стороне Тибра, дома с изрытыми стенами, покрытыми желтой известью или стучом, некоторые в несколько этажей, загромаждали узкие улицы, темные, как улицы восточных городов. Сырые углы площадей, в которые изредка золотой лентой проникал солнечный луч, скользнувший с крыши, закоулки, украшенные нишами в гирляндах, где хранили неподвижные изваяния богинь и богов. Повсюду теснились низкие лавки с выставленными товарами; в мясных на железных жердях висели части туш и огромные бычьи сердца; в булочных рядами красовались круглые и выпуклые хлеба. Чуть дальше расположились мастерские по производству сандалий, кожаных и деревянных ботинок, по изготовлению светильников из давленной меди и лаковой глиняной посуды, блестящей в полумраке. На окнах с деревянными решетками развевались куски материй, а на веревках, по стенам, висело множество звенящих вещей.

На пустынном участке земли, на берегу Тибра, стоял небольшой домик с отверстием в крыше, откуда клубился черный дым; а перед домом, в узком садике, весело цвели гелиотропы и розы. В глубине его было устроено подобие сарая, заваленного кусками глины, квадратными кирпичами, вазами этрусского стиля, расписанными лампами, сапогами, сушившимися на полках. В углу, у двери, зияло круглое жерло потухающей печи.

Краснолицый мужчина с волосами в мелких завитках, в разорванном шерстяном плаще, с обнаженными до плеч руками и голой грудью вертел гончарный круг. На узкой горизонтальной доске глина размягчалась и превращалась в продолговатые вазы, стройные, как распутившиеся лилии, или в круглые блюда, или овальные амфоры с остроконечным основанием. Другой человек, худой и темноволосый, сидя на скамейке из пальмовой плетенки, расписывал вазы кистью, окуная ее в горшки с краской. Он украшал их черными и красными геометрическими фигурами, изображениями богов и изгибающихся борцов, группами колесниц, несущихся в лазоревом пространстве.

Несколько поодаль третий гончар прикреплял ручки к вазам и резал большие куски глины, которые бросал вращавшему кругу.

Этот работник насвистывал какую-то грустную мелодию,

сопровождая ею скрип гончарного круга и глядя только на глину, размягчавшуюся и оживавшую в его руках.

Ничто не останавливало работы гончаров, окутанных летучей солнечной пылью, а сквозь нее, на желтом фоне густых ветвистых лесов, виднелись, как в мираже, гелиотропы и розы, большие цветы и листья, склонившиеся к земле, как складки одежды. Через плетень из сухих тростников, отделявших мастерскую от дома, смотрел, опираясь на большую кривую палку, старик, едва прикрытый стянутым в талии холстяным плащом, в шляпе из рыжей шерсти на седых и очень длинных волосах, сходящихся с бородой. Он был худ и высок, с красными кругами вокруг глаз, с тонкими губами, с желтой, покрытой рубцами кожей, на которой выступали узловатые жилы. Ноги его были босы.

Он стоял, молча, и ждал.

Краснолицый гончар поднял голову.

— Магло! — воскликнул он.— Это ведь Магло, которого мы все ожидаем?

И он быстро оставил гончарный круг, который издал резкий свист. Двое других прекратили работу.

Гончар отворил старику дверь, тот вошел, протянул к ним руку и пробормотал несколько слов. Они опустились на колени, затем встали, а Магло, озабоченный и усталый, сел на скамью.

— Отец, ты ел? — спросил гончар, глядя на него со вниманием и заботливостью сына.

Магло ответил:

— Да! Да! Я ел, я сыт!

Все трое проявляли к нему умильную почтительность и не перебивали его. Опершись подбородком на палку, старец пристально смотрел на землю:

— Пройти Галлию и Италию, переплыть реки, пройти горы, не жалея свою старость, страдать от голода, холода, жары, побоев, обид и насмешек — и все это для того, чтоб увидеть Рим и впасть в его мерзость. Это тяжело, тяжело!

Он выпрямился во весь рост и угловатым жестом протянул палку, указывая ею на Рим.

— Предсказываю, предсказываю! Если никто не уничтожит эту блудницу, которая отдается сынам Востока, то все погибнет. Гниль ее

распространится по земле — и горе, горе всем!

Двое содрогнулись. Но Геэль, тихо сжимая руку старца, заставил его сесть и быстро сказал:

— Да, мы уничтожим ее, отец! Число наших братьев все растет. Но нам нужно время, чтоб разжечь огонь, который поглотит ее совершенно!

Он спокойно смеялся и другие вторили ему хором, как бы желая успокоить пришельца, который продолжал:

— Что это за часть города, где блудницы зазывают прохожих? Я видел, как мужчина обнажил женщину. Я видел, как юноши ласкали развратников и осквернялись с ними. Я видел старух, деливших ложе с малолетними. Это конец всех концов, этого достаточно, чтоб солнце закрыло свой лик.

— Ты прошел по Субурской улице? — робко спросил гончар.

— Эта улица — путь погибели,— быстро сказал Магло.— Подождите эту груду гнилья, которая заразит народы!

— Просвещение светом истины идет вперед, отец! — уверял Геэль, после некоторого молчания, надеясь внести мир в душу старца, гнев которого смущал его.

— Нас немало в Риме, чающих пришествия Агнца, и мы многого ждем от новой власти, возникшей на Востоке; она подготовит сердца для Крейстоса.

— Восток, Восток! — воскликнул Магло.— Разве это не Вавилон?

— А Вавилон это — Рим,— ответил Геэль, снова улыбаясь.— У нас есть бедняки и блудницы в несчастьи.

Старец быстро встал:

— Мне говорили, мне говорили! — застонал он.— Вы, живущие в Риме, вы не гнушаетесь гнилых плодов, от которых сами сгниете.

— Мы собираем семена везде, где их находим,— сказал Геэль.— Взгляни на моих работников: Ликсио, фригиец, приговоренный к распятию на кресте за убийство своего господина; Ганг, кампаниец, которого прокуратор разыскивает за кражу,— оба они скрылись от чиновников, и я приютил их. Им нечего здесь бояться: это братья.

Магло внимательно посмотрел на Ликсио и Ганга. Геэль смиренно, но уверенно продолжал:

— И я сам, уроженец Сирии, разве я не был за Евфратом, в разлуке с братом моим Мадехом, быть может, умершим, быть может, рабом, кто

знает?.. И разве не нахожусь я под угрозой закона империи за поджог города?

— Увы, увы!..— произнес Магло и замолк.

К нему возвращались чистые грезы, которые наполняли его душу светом в его пещере в Альпах перед снежной картиной гор, перед синими горизонтами, холодными водами, струящимися в лощинах, где краснеют морщинистые лесные яблоки и черника прикрывает гнезда юрких ящериц. Старость застала его девственным.

И перед его глазами стоял образ властной Майи, запечатлевшийся в его мозгу и унаследованный от его предков, скандинавских гелветов. А еще виделось ему бледное лицо Богочеловека, попирающего пятою семь голов греха: сладострастие, блуд, изнасилование, скотоложество, содомию, прелюбодеяние и растление. Молва о его святости дошла по Роне до Лиона, проникла за море и постучалась в двери Рима, куда призывали его поклонники Крейстоса. И направленный к Геэлю одним из далеких учеников, он пришел, чтобы при жизни увидеть Рим, и для того, чтобы еще сильнее укрепилась в нем вера. И какое разочарование постигло его!

— Ты останешься здесь,— сказал Геэль, радостно улыбаясь.— Я прикажу приготовить тебе ложе, потому что ты у своих.

В эту минуту решетчатая дверь отворилась. Магло вскрикнул:

— Она! Это гибель! Та, что я видел сегодня утром.

Неприступный и суровый, он хотел удалиться, но маленькая ласковая ручка завладела его рукой, и к ней прильнули чьи-то губы.

— Да, я знаю, ты прошел мимо моей двери, и я тебя позвала. Но не все ли равно! Геэль сказал мне, что я прощена.

Магло смутился, слегка смягчившись; он машинально начертал крестное знамение над головой молодой женщины, которая бросилась к нему. Низкая митра была надета на ее голове; волосы приглажены на висках, брови соединены черной чертой; в ушах тускло блестели бронзовые кольца; груди колебались под светло-желтой полотняной субукулой, высоко подпоясанной; сандалии завязаны на обнаженных икрах; на щеках — слой меловых белил. Серебряная пряжка с головой Медузы скрепляла на ее плече паллу, незатейливо открытую под мышкой.

— Довольно, довольно, Кордула,— строго крикнул Геэль, приметив замешательство Магло.



Кордула поднялась в смущении, но все же поднесла к носу Геэля четырехугольную душистую ладанку.

— Понюхай! Мне подарил ее один человек. Это как будто мирра и вервена.

И она убежала, точно промелькнуло золотистое видение в тонком аромате вервены и лупанара. Геэль сильно покраснел и пробормотал:

— Разве можно сдерживать этих женщин? С ними надо быть добрым и снисходительным, потому что они нас любят, а Крейстос не был врагом любви.

— И ты любишь их, любишь их тело? — спросил Магло, сдерживая себя.

Послышался шум смешанных голосов. И в гончарную мастерскую вошли человек двенадцать мужчин и женщин, которые поздоровались за руку и торжественно поцеловали друг друга в щеку. Они пришли ради Магло, зная, что в этот день он должен прибыть к Геэлю. У него они часто собирались; это были христиане, объединенные одним и тем же видом причастия в общее трогательное братство; лишь изредка в него только вносили разногласие различные споры о догматах.

Ликсио и Ганг прекратили работу. Геэль усадил сектантов на низких плетенках из ивы с берега Тибра, посреди кусков глины и ваз, на которые луч солнца падал золотой пылью. Когда, поцеловав сухие пергаментные щеки Магло, пришедшие упросили его говорить, то он медленно, но звучным голосом, стал рассказывать им про христианские церкви в Галлии, которые он посетил, покинув Гельвецию. Хотя проповедь веры была там на тернистом пути, благодаря некоторым народностям, враждебным Агнцу, зато Рим смутил его своими лупанарами, открытыми для всех, беспутством его обитателей, которое смрадными потоками и душевным мраком покрывало оскверненный мир! И он заплакал, ударяя палкой оземь; затем, откинув назад широкие поля своей шляпы, встал, грозя протянутой рукой и выставив вперед большие голые ноги. В его грозных словах Рим являлся в виде злого зверя, несущего на хребте своем все грехи, и ему хотелось бы жестоко преследовать его, убить его своей палкой и зарыть в ту грязь, в которой он привычно пресмыкался. Но тут прервал его один из христиан, молодой человек гордой внешности, с открытой шеей, коротко остриженной головой, с продолговатым, тонким и умным лицом; черные глаза придавали этому тридцатилетнему человеку обаяние,

отражая красоту души, горячей необычайным оживлением. Короткая остроконечная борода дополняла его апостольский облик, полный человеколюбия. Он был одет в простую тунику из грубой шерсти, заботливо заплатавшую, и в деревянные сандалии на босу ногу. Звали его Заль. Он заговорил:

— Агнец не хочет, чтобы средоточие мира и престол его грядущей славы терпели поношение от нашего брата из Гельвеции. Из той гнили Рима вырастет божественный цветок Крейстоса!

Прочие взглянули на Магло, ошеломленного на миг, он возразил:

— Рим, Рим, это гниль!

Он повторил это глухо, как бы перед видением лупанаров Субуры и все еще изумленный внезапным вмешательством Заля; а тот уверенно продолжал защищать Рим, уже не смущаясь святостью Магло и чувствуя, что в нем слабеет его прежняя вера в одинокую чистоту Крейстоса. Тогда чей-то голос сказал:

— Величие Крейстоса царит над всем и может возникнуть из всего!

Христиане склонились перед той, кто произнес эти слова. То была женщина двадцати пяти лет, выразительная и пылкая в каждом движении, с величественной внешностью патрицианки, отрекшейся от мира; без драгоценностей, без румян и белил, одетая строго в белую столу с прямыми складками; палла закрывала ее трепещущие плечи, на которые падали подвижные пряди черных волос, вырвавшиеся из-под повязок на слегка наклоненной голове. Другой христианин выступил вперед:

— Наша сестра Севера права. Но это величие бестелесно, оно есть чистый дух, как и тот, от кого оно исходит!

Говоривший эти слова, был высок, худ и уже зрелого возраста — сорока лет. На нем была черная туника, волосы были плохо острижены, и его бритое лицо изобличало человека, которого терзают тайные страсти. Он обладал резким голосом, что давало ему возможность быть убедительным в определенных христианских кругах — он выступал в манере догматика, закрывая глаза, высоко держа подбородок над прямым воротом и презрительно относясь к тому, что о нем говорят и думают другие вероучители. Хотя они и считали его знатоком апологетики и человеком с широким кругозором, все же не стеснялись иногда обнаружить в нем какой-нибудь порок, недостойный христианина, вследствие чего Атта — так его звали — был вне сходов и

интимных собраний верующих каким-то жалким, нуждающимся паразитом, льстивым перед сильными и готовым продать веру за несколько золотых или даже за несколько кусков хлеба и сардин. Но он оберегал себя от подобных обвинений, еще не предъявлявшихся ему в грубой форме и, чтобы лучше защититься, держал себя, как приверженец официальной церкви христиан-политиков, богатых и ловких, поддерживавших под наблюдением римского епископа Калликста,— а до него, Зефирина,— только отдаленную связь с более скромными, смиренными, тихими и братствующими общинами церквей, к которым принадлежали те, кто был у Геэля, и сам Геэль.

Эти церкви колебались между различными толкованиями учения, настолько свободными и уступчивыми, что они приближали их к некоторым обрядам политеизма или, по крайней мере, к некоторым политеистическим идеям для объяснения Божественной силы, олицетворенной для них в образе Крейстоса. Многие объединялись по национальностям, и это отличало их от политических общин, с более резко выраженным интернациональным характером. За исключением Северы, римской супруги одного патриция, давно уже удалившегося от дел империи и императоров, которую влекла к Залю,— как остроумно выражались,— любовь к Крейстосу; за исключением Атты, путем борьбы водворившегося среди них, быть может, во властолюбивых целях, все те, кого соединило у Геэля присутствие Магло, были детьми Востока: Персии, Фригии, Понта и Халдеи, и потому они чувствовали еще несознаваемое ими самими, но осязаемое сродство с новой империей, молодой и обаятельный повелитель которой должен был завтра вступить в Рим. Об этом-то они и заговорили. Заль предпочитал Элагабала с его извращениями и Черным Камнем, тень которого уже поднималась над римским горизонтом, и с его жрецами,— всем императорам-политеистам, которые к его великому сожалению не достаточно споро разрушали мир. Господство Крейстоса родится из гнили Элагабала, а не из здоровой и сильной жизни других богов! Он говорил это горячо и смело под пристальным взглядом Северы; Магло качал головой, сидя и держа посох между ногами, а Атта переводил тревожный взгляд с Геэля на других христиан и иногда строго смотрел на Заль, озаренного теперь лучами солнца.

Магло пришел слишком издалека, чтобы сразу освоиться с теориями Залья, и потому перевел спор на естество Сына человеческого, так как

идея эта была ему очень дорога. Возникли разногласия. Одни доказывали, что Крейстос, как человек, был существом бестелесным; другие утверждали, что он был чистым Духом; Геэль скромно заметил, что Крейстос и Отец его составляют неизменяемое соединение всех богов. Но Магло заткнул уши и встал, еще господствуя над бедными туниками христиан, обратившихся к нему:

— Богохульство! Агнец, в отдельности от Отца, равен ему по силе. Я, Магло, его видел, с его семью кровавыми ранами: Отца, властителя грома и всех благ, справа от него, а Духа — слева.

Атта ответил ему высокомерно и властно, казалось, презирая незначительных слушателей:

— Все должно объединиться в Божественном единстве Крейстоса. Опасна идея троичности, прославляемая Магло.

И так как Магло, задетый в своей святости, смотрел плаксиво, то Атта заявил, что вопросы о догматах должны быть предоставлены иереям объединенных церквей. Но Заль восстал против того, чтобы руководство душами было отдано во власть людям, вера которых не всегда несомненна:

— Дух проявляет себя, где может. Человек подвластен греху; мы не можем отдать эти споры на произвол их страстей.

Он отвергал всякую власть, явно имея в виду Атту, который в ответ презрительно и лицемерно пустил в него отравленную стрелу:

— Берегись, Заль, чтоб этот дух не был демоном!

Заль вскочил и погрозил ему кулаком:

— Демон в тебе, в тебе, нечистом, который скрывает свою низость под ложной святостью.

И, казалось, он готов был его ударить и, возмущенный, бормотал про себя то, что уже давно рассказывали про Атту, про его паразитство, его тайные пороки и подозрительное общение с язычниками. Но все шумно встали, их разъединили. Атта был бледен:

— Я заставлю низвергнуть тебя из клана верующих!

— Я открою всем твоё лицемерие!

Разъяренный Атта направился к дверям и в тот момент, когда к Залю приблизилась взволнованная Севера, бросил ему в лицо:

— Горе, горе, горе тебе!

Все содрогнулись после этой сцены, которая так резко положила конец спору, начатому Магло. Заль ничего не говорил более. Магло

проводил худыми руками по своей волнистой бороде и беспокойно смотрел на верующих. Но те, а вместе с прочими Заль и Севера, разом ушли. Остались только Геэль, его работники и Магло,— и все молчали.

## V

В Транстиберинском предместье стоял сильный шум, ревела толпа, люди бежали к Сублицийскому свайному мосту. Дети, копавшиеся в мусоре, пугались; в отверстиях окон сталкивались любопытные головы, а низкие таверны, с одним навесом, поспешно закрывались из боязни. Толпа выкрикивала различные имена Элагабала: называли его Антонином, так как мать его, Сэмиас, уверяла, что он родился от Антонина, а также Бассианом, Варием, Авитом и Сирийцем.

Геэль пробивался сквозь группы теснившихся граждан и рабов; над их головами, на дощечках или на прямых жердях, были выставлены статуэтки, железные изделия и большие куски соленой свинины; по временам продавцы, ропща и уворачиваясь, спасались от ударов мечей в руках солдат, покрытых железом и медью. Пришельцы с Востока, длинные полосатые одежды которых выделялись подвижными пятнами среди грязно-белых римских тог, били в барабаны, обтянутые кожей, и дули в прямые трубы из блестящей меди; проститутки громко бранились между собой, и матроны догоняли своих полуголых детей, прыгавших повсюду.

На Священной улице, куда выбрался Геэль, промелькнула мимо него лектика, в которой четверо рабов несли двух мужчин, лежавших на пурпурных подушках; один из них был бледный, с короткой каштановой бородой, другой — моложе, большой ребенок, только что вышедший из отроческого возраста, с золотистой кожей, быстрым взглядом и вьющимися волосами. Геэль смотрел на него в щель между плагулами — шелковыми занавесями — и воспоминание о брате, с родины, навсегда утраченном, вставало перед его глазами, и чем дальше он смотрел, тем сильнее крепло это воспоминание. Да! Это действительно Мадех, тот самый, о ком он говорил Магло. И, потрясенный, восторженный, он воскликнул:

— Мадех? Это я! Я!

Он бежал за носилками, чтобы привлечь внимание вольноотпущенника, лежавшего рядом с Атилием. Но Мадех не слышал его в окружающем шуме; Атиллий же мечтал...

Тогда Геэль вдруг раскрыл всю занавесь; лектика остановилась по знаку Мадеха, который увидел Геэля. Узнать его и после краткого

колебания сойти и поцеловать — было делом мгновения.

— Да, да, это я! Я приехал оттуда, знаешь, добрый мой Геэль!

И он все еще обнимал его со слезами на глазах, а Геэль восхищался им, ошупывал его шею, руки, волосы, вдыхая аромат далекой страны. И так как Атиллий смотрел на них безучастным, почти мутным взглядом, то Мадех сказал ему:

— Это мой брат с родины, о котором я часто тебе говорил; он спас меня, когда римские легионеры убивали моих соплеменников. Если б не он, я был бы мертв, может быть, или далек от тебя!

Он говорил это поспешно, счастливый тем, что Геэль разделял его радость, видя его в дорогой одежде, с митрой на голове, которая чудесно шла ему, и что Атиллий увидел его брата из Сирии. И Атиллий милостиво сказал из глубины лектики:

— Беги с нами и будь вместе с нами!

Мадех лег снова, и носилки двинулись вперед между Виминалом и Эсквилином, на которых возвышались дворцы и дома, красиво окрашенные в шафранный цвет. Носилки свернули в сторону: перед ними открылся Каринский квартал с храмами, многочисленными портиками, термами и садами с изящной растительностью. И толпы народа постоянно двигались с соседних высот, появлялись из-за высоких домов с выступающими вперед деревянными окнами; народ стремился влево, к Священной улице, как бы выливаясь из сверкающих щелей, в ярком полуденном солнце, пестря одеждой среди развевающихся занавесей и тканей, которыми люди махали с высоты колесниц, украшенных слоновой костью и серебром.

И все время слышались обаятельные имена Элагабала, как будто от этого молодой император должен появиться скорее, внемля долгим радостным кликам.

— Завтра божественный Антонин вступает в город,— сказал Мадех громко, чтоб Геэль мог его расслышать в шуме.— Народ хочет приветствовать его при приближении к Риму.

Лектика свернула в узкую улицу, стиснутую молчаливыми домами с железными затворами у дверей, и остановилась перед домом, окаймленным пилястрами; дверь отворилась, и в ней показалось розовощекое лицо янитора, привратника. За дверью виднелись сени, а в глубине дома, за вестибюлем — желтая площадка, прямой ряд колонн из красного травертина, анфилада уходящих вдаль зал, пронизанных

солнечным лучом, подобным широкой серебряной ленте.

Атиллий и Мадех вышли из лектики. Мадех обнял Геэля, который колебался.

— Он разрешает тебе войти,— сказал Мадех,— он любит Восток и наш народ.

И он увлек его вслед за Атиллием, в то время как со всех сторон сбегались невольники.

В атрии, украшенной мозаикой и бледными фресками, доходившими до карниза колонн, раздался хриплый крик. Серая обезьяна, прикованная к жертвеннику у края бассейна, смотрела своими почти человеческими глазами на Атиллия, а какая-то тень колебалась на стене, расписанной пестрыми стаями птиц, порхающих среди голубых и розовых облаков. Геэль, не знавший, что сказать, и шедший с осторожностью, увидел павлина, распутившего свой хвост, пышного и величавого в спокойной гармонии радужных переливов. Птица, подняв одну ногу и с загадочным видом устремив взгляд на кусок голубого неба, отражавшийся в комплювии через отверстие в крыше, оставалась неподвижной.

— Ты тоже шел навстречу Антонину? — спросил Мадех Геэля, в то время как Атиллий направлялся к перистиллю в глубине узкого убранного тканями коридора, где его белая туника с двухцветными полосами выделялась светлым движущимся пятном.

— Да, брат Мадех,— ответил Геэль.— Говорят, что, отвергая всех римских богов и признавая только одного бога, с Востока, он будет благосклонен и к нам.

— К нам? — спросил, недоумевая, Мадех.

Он взял Геэля за руку и усадил рядом на бронзовом сиденье — биселлии. Павлин все шире распускал свой хвост, а обезьяна спокойно пила из позолоченного солнцем бассейна неопределенной глубины, в котором тихо колебалась вода.

Сделав быстрое движение, Мадех открыл черный конус амулета, висевший на тонком шнурке на его шее, и, когда Геэль раскрыл рот от удивления, поспешно сказал:

— Да, да, я жрец Солнца, посвященный Атиллием богу света и жизни, богу Элагабала, соединяющему в себе всех богов.

— А!..— промолвил Геэль.

Он сидел задумчиво, охваченный суеверным страхом перед этим



жреческим званием, и исподлобья взглядывал на Мадеха, чьи волосы приятно благоухали, чье гибкое, отполированное пемзой тело было умащено после бани маслом, перемешанным с разными благовонными эссенциями.

Он имел нежный и счастливый вид эфеба, который от ничтожной причины может лишиться чувств. Его кольца сверкали; застежка длинной туники искрилась; его сандалии, окаймленные серебром, были украшены над ступней горящими драгоценными камнями в узорчатой оправе, в которой слоновая кость, бирюза и золото переплетались в виде извивающихся растений. И, главное, движения его были изнежены, а гибкая спина чутко вздрагивала, как у блудницы, холеное тело которой реагирует на малейшее прикосновение. Геэль понял, и его взгляд встретился с взглядом Мадеха.

Они заговорили, пробуждая в памяти годы, проведенные на берегах Евфрата, куда их увлекли толпы восставших, в местности, полной на необозримом пространстве развалин, испещренных клинообразными надписями. Их удивляло, что они так быстро и как бы инстинктивно узнали друг друга после той долгой разлуки, в течение которой оба выросли и изменились до неузнаваемости. Расставшись детьми, они встретились теперь взрослыми.

— Понял ли ты, почему мгновенно наши души откликнулись и наши лица узнали друг друга?

— Что увековечило нашу дружбу и запечатлело ее в сердцах, несмотря на протекшие годы?

Они продолжали разговаривать; Геэль приблизился к Мадеху, который чувствовал как бы легкую нервную дрожь. И грубая внешность гончара, его жирные от глины руки, его густые вьющиеся волосы и жесткая кожа в веснушках не были ему неприятны. Внезапно Мадех сказал:

— Ты поклоняешься Крейстосу, я это понял. Элагабал чтит его, и Атилий, советник Элагабала, видит в нем проявление жизненного начала.

— Значит, мы будем под покровительством империи,— сказал Геэль, который не все понял из слов Мадеха.— Один из наших, по имени Заль, пришедший также с Востока, полагает даже, что Черный Камень направит мир к поклонению Крейстосу.

Раздался плеск воды в бассейне, и оттуда высунулась пасть, желтый